



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Возможно, и в Риме существует какое-нибудь место, столь же привлекательное для людей определенного склада, как Сен-Сюльпис в Париже, но в Риме я никогда не бывал.

Если пройти от Сен-Жермен по улице Ренн, то пониже, напротив церкви, можно увидеть террасу кафе «Дёмаго», а на террасе — завсегдатаев бульвара, потомков тех, кого больше ста лет назад рисовали Гаварни, Домье и Бенжамин. Нынешние обитатели бульвара напоминают не то рыб неведомой породы, не то аэропланы — свобода их передвижения так же призрачна. Они могут пройтись, прогуляться, профланировать в пределах щедро отмеренного им участка, но за границы его если и рискуют переступить, то опасливо и даже, пожалуй, со страхом. Забавно наблюдать, как робко эти типы — профессионально дерзкие — ведут себя, попадая на обычные городские улицы. Смысл их жизни — экстравагантность, а здесь как раз она-то и мешает им, сковывает, держит в плену. На своей территории они могут делать все что угодно, за ее пределами им заказано то, что дозволяется нормально одетым мужчинам и женщинам. Когда на этих самых улицах щеголял зеленой шевелюрой Бодлер, он чувствовал себя гораздо свободнее. Зеленые волосы Бодлера были оскорблением как всем буржуа в целом — в лице каждого встречного, так и его добропорядочному отчиму в частности. Но с тех пор буржуа сильно переменились, и прежде всего переменилось их отношение ко всякого рода чудачествам.

Экстравагантность перестала быть для них оскорблением, они равнодушно проходят мимо, успев про себя подумать, что, пожалуй, некоторые нелепые одеяния из принятых там, внизу, в летнее время по-своему удобны.

Окрестности улицы Сен-Сюльпис — это нечто вроде прогулочной площадки для экстравагантных личностей с Сен-Жермен, и главным образом благодаря расположенному поблизости театру «Старая голубятня». Но надо заметить, что диковинные эти типы самым причудливым образом перемешиваются здесь с церковным людом, который снует по книжным лавкам, торгующим богословской литературой и культовой утварью. И на Сен-Сюльпис ныне редко кто вспоминает о Манон. По правде говоря, о Манон здесь вспоминаем только мы, иностранцы, любители классики, или какая-нибудь старая дева, тоже иностранка, если в молодости ей довелось услышать оперу. Манон — героиня не только не современная, но и не годная для осовременивания. Ее взгляд на любовь не имел успеха у философов, а кавалер де Гриё кажется нам сегодня слишком слезливым, слишком приторным, и мы даже слегка ненавидим его за это, ведь благодаря ему женщины узнали, насколько приторна и слезлива любовь всякого мужчины. В сотне метров от церкви Сен-Сюльпис целуются и обнимаются парочки и делают это самым откровенным, самым вызывающим — но с философской точки зрения безупречным — образом. Если задать им вопрос о природе их чувств, они ответят цитатами из сартровского «Бытие и Ничто».

Да, здесь, на Сен-Сюльпис, тень Манон и ее вышедшая из моды любовь — не самое главное. Лично меня сюда всегда влекли лавки с богословскими книгами. В этих лавках можно найти все, что написано немцами, французами, бельгийцами, англичанами и итальянцами о Боге и о Христе. Книги выстроились в шкафах, застыли на полках, словно манящие и недостижимые яства.

Сюда стекаются те, кто хотел бы узнать о Боге все, кто томим тоской и вечной жаждой поиска. Здесь они встречаются и с первого взгляда, без слов, узнают друг друга. Чаще всего на вид это люди тихие и безобидные. Надо уметь особым образом посмотреть им в глаза, чтобы понять, что творится в их душах. Когда руки их внешне спокойно тянутся к той или иной книге, когда они перелистывают ее со смесью любопытства и показной небрежности, когда книга наконец куплена и ее уносят с собой, — только тот, кто знает их и одержим той же страстью, может угадать, с каким тайным трепетом, тайным нетерпением они спешат укрыться в ближайшем кафе, забиться в укромный угол и — погрузиться в чтение.

Порядочный человек всегда неловок в обращении с девственницей, независимо оттого, имел он отношения с другими женщинами или нет и есть ли у него любовный опыт. Именно так раскрывают книги те несчастные, те одержимые, что покупают богословские сочинения на Сен-Сюльпис! Их руки сами по себе, независимо от воли и разума хозяина, могут суетливо разорвать не разрезанные еще страницы. Вроде человек и не замечает торопливых движений собственных пальцев, он даже может заглядеться на проходящую мимо красотку — руки знают свое дело. Но богословский текст — это как девушка, невинная и горячо любимая. От опыта и умения здесь проку мало. Пальцы путаются в страницах, рвут сгибы листов, не дождавшись, пока официантка принесет нож, — а все потому, что книга, равно как и любимая девушка, способна изменить или бесповоротно разрушить судьбу такого человека. Он может воскликнуть: «Наконец!» Или не скажет ничего и отбросит книгу прочь, а вместе с ней и последнюю надежду.

Разумеется, в книжных лавках на Сен-Сюльпис легко встретить и покупателей совсем иного типа. Тот италья-

нец, по одежде похожий на английского слугу из хорошего дома, уж точно не принадлежал к породе книжников, томимых вечными вопросами, он был скорее из числа людей, ни в чем и никогда не сомневающихся. На вид я дал бы ему лет тридцать. Он поглядывал вокруг и улыбался бойко и самодовольно, как умеют улыбаться только севильские, неаполитанские или греческие уличные плуты. Облик его меня изумил, но одновременно и заинтриговал, потому что в облике этом сошлись, хотя до конца и не смешивались, две вроде бы противоположные традиции — не смешивались и, тем не менее, влияли одна на другую, шлифовали одна другую, легко уживались вместе. В незнакомце угадывался замечательный ум, но дай ему волю — он обрядился бы самым нелепым и вызывающим манером и при первом удобном случае — хоть и прямо посреди улицы — запел бы «Вернись в Сорренто», подыгрывая себе на мандолине. Правда, широкополая фетровая шляпа, жилет и прямые брюки без отворотов загоняют человека в некую систему с достаточно жесткими нормами, где немислимы цветные платки и чувствительные напевы. Мы несколько раз сталкивались у книжных стеллажей, и я даже подумывал, не цыган ли он.

Нет ничего невероятного в том, что некий английский *butler*<sup>1</sup>, настоящий английский *butler* — вроде описанного Хаксли — увлекается теологией, но субъект, о котором речь, настоящим-то *butler'ом* как раз и не был. Признаюсь, я стал склоняться к мысли, что он вообще не был настоящим, даже настоящим итальянцем, а носил маску, выдавая себя за кого-то другого. Просматривая книги, он всем видом своим изображал крайнюю заинтересованность, но одновременно и некую высокомерную снисходительность, словно материя, составляющая предмет этих сочинений, для его ума оказывалась

---

<sup>1</sup> Дворецкий (англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)

мелковатой. Он быстро и очень уверенно выбирал нужные тома, сваливал их в кучу, просил принести что-то еще и порой обменивался с молодым англичанином, монахом-доминиканцем, весьма разумными замечаниями по поводу современных трудов о тринитариях. Доминиканца удивило лишь то, что мирянин проявляет столь глубокие познания в сфере, связанной с проблемами едва ли не эзотерическими, но на разительный контраст между поведением итальянца и его внешностью он внимания не обратил.

Как-то раз мой друг-священник завел меня в протестантскую лавку. При лавке имелась большая комната, где в тот вечер некий немецкий теолог излагал свои мысли о Боге. Собралось человек пятьдесят, и публика была очень пестрой. Докладчик, сидевший в углу, раскрыл сочинение Кальвина, прочитал несколько абзацев и принялся их комментировать. Он говорил на правильном, понятном французском языке и Бога рисовал Существом капризным и жестоким.

— Нет, это выше моего разумения: как при подобных мыслях можно спокойно жить в мире и говорить всякие красивые слова о Господе, на чью Волю человеку, выходит, абсолютно нельзя полагаться.

Сначала мне показалось, что это возмущался мой приятель-священник, но тот сидел справа от меня и с большой тревогой слушал докладчика, а голос доносился слева — ровный и даже чуть насмешливый. Слева от меня, на соседнем стуле, сидел тот самый итальянец, он повернулся ко мне и смотрел с улыбкой.

— Ведь вы католик, не правда ли? — спросил он.

— Да, разумеется.

— Поразительно. Почти все мы, здесь собравшиеся, — католики, за исключением пары атеистов и одной кальвинистки — супруги докладчика. Вон той некрасивой дамы, которая с восторгом ему внимает.

— Вы здесь всех знаете?

— О да! Я хожу сюда каждую пятницу. А вы попали впервые? Советую не пропускать этих лекций. Вы заметите, что протестантская теология — конечно, я имею в виду серьезную, настоящую теологию — так и не сумела выбраться из мышеловки, в которую четыре столетия назад ее загнали Лютер и Кальвин. Хотя, пожалуй, сравнение с мышеловкой не слишком удачно, скорее подошел бы образ очень высоких крепостных стен. У мышей, оказавшихся внутри, есть два пути: либо делать подкоп, то есть устремиться вниз, в землю, либо прыгать вверх, к небесам. Вам не показалось, что наш докладчик как раз и пытается допрыгнуть до небес?

Но моего ответа итальянец ждать не стал, он опять повернул голову к выступавшему и принялся слушать. Время от времени он делал какие-то пометки в простенькой записной книжке с черной обложкой. И так до самого конца, словно никогда и не заговаривал со мной. Докладчик умолк. Мы вяло поаплодировали. Мой приятель, явно расстроенный, потянул меня к выходу:

— Извини, я тебя напрасно сюда привел.

— Не переживайте, сеньор священник, вера вашего друга настолько крепка, что ее не поколебать ни одному кальвинисту.

Итальянец стоял рядом с нами, в знак вежливости он снял широкополую шляпу и говорил на хорошем испанском. Священник переводил взгляд с него на меня, словно спрашивая его: «Кто вы?», а потом меня: «Кто этот тип?»

— Вас удивляет, что я так хорошо говорю по-испански? Это объясняется просто: я изучал теологию в Саламанке. Правда, довольно давно, но язык улицы не забыл.

— В Саламанке? Вы говорите — в Саламанке? — Теперь священник смотрел на него с симпатией. — Пожалуйста, наденьте шляпу, идет дождик.

— Спасибо, действительно... — Он надел шляпу, но лишь после того, как отвесил еще один быстрый по-

клон. — Я учился у... — Он назвал шесть-семь имен. — О! Разумеется, я не разделяю всех их взглядов, но, спору нет, они дали мне базу, заложили основу моих теологических познаний. Одному знакомому, который занят этой же материей, я без конца повторяю: какой бы устаревшей ни казалась схоластическая доктрина, связи с ней лучше не порывать, даже если ниточка будет совсем тонкой, для нас она все равно что якорь для корабля. Знаете, как бывает: канат натягивается, дрожит от натуги, вот-вот лопнет, но стоит чуть податься назад — и все в порядке.

Мой друг был схоластом, он начал было возражать, но итальянец вежливо его остановил:

— Прошу меня извинить, если я начну вам отвечать, мы не управимся и в несколько часов, а я должен вскоре встретиться с хозяином. Если угодно, мы продолжим в следующий раз. Ведь мы еще увидимся, уверен, мы еще увидимся!

Он раскланялся и исчез в уличной сутолоке.

Священник еще какое-то время смотрел на пустоту, которую итальянец оставил за собой, пройдя сквозь толпу. Затем спросил:

— Откуда ты его знаешь?

— Я не раз сталкивался с ним в лавках. Он покупает лучшие книги по богословию, самые дорогие и самые редкие.

— Знаешь, все эти учителя из Саламанки, которых он называл... они жили больше трех столетий назад! — И добавил, увидев мое изумление: — Если мне не изменяет память, все они читали там свои курсы в начале XVII века.

— Это какой-то шут.

— Ты так думаешь?

— Дело не только в теологии... Я уже не один день наблюдаю за ним. И у меня создалось впечатление, будто все в нем поддельное. Сперва я решил, что он



под кого-то работает. А теперь вообще сомневаюсь в его реальности. Заставь меня придумать этому определение, я сказал бы, что мы разговаривали с призраком.

Священник засмеялся:

- Это не определение, это отговорка.
- Просто ты не веришь в призраков, а я верю.

2. Несколько дней спустя я снова встретился с итальянцем. Он шел вниз по бульвару Сен-Мишель, иначе по буль-Мишу, в тот час, когда там собираются шумные толпы студентов. Должно быть, они хорошо его знали, во всяком случае, многие с ним здоровались, и он отвечал. Но поразило меня другое. То, как он шел. При каждом шаге он подпрыгивал — подпрыгивал в такт какой-то причудливой мелодии с ломаным ритмом и ей же в такт размахивал чем-то вроде трости, зажатой в левой руке. Одновременно правая его рука, будто играя, неспешно помахивала цветком. Ни тогда, ни сейчас я не могу себе объяснить, как ему это удавалось, ведь нет ничего труднее, чем заставить свои руки двигаться с совершенно разной скоростью и выполнять при этом разные задачи. В подобных фокусах есть что-то дьявольское, подумалось мне, и уж просто виртуозностью такое точно не назовешь. К тому же он выделял все это на оживленной парижской улице, значит, либо решил пошутить, либо хотел привлечь внимание к своей персоне. Честно говоря, я не знал, на каком объяснении остановиться, а итальянец не дал мне времени оправиться от изумления: он неожиданно вырос прямо передо мной, снял шляпу и поклонился с преувеличенной почтительностью:

— Как поживаете, сеньор... — он назвал мое имя. — Рад вас видеть. Я пару раз звонил вам в гостиницу, но мне не везло, я вас не заставал. — И, увидев недоумение

на моем лице, быстро добавил: — Да, конечно, мы не были представлены друг другу, но для уроженцев южных стран это ведь не так важно... Мой хозяин выразил желание познакомиться с вами, и вот... — Он сделал рукой жест, который довершил фразу.

— Кто же ваш хозяин?

— Позвольте мне пока не называть его имени. Но я могу показать вам моего хозяина, правда, при одном условии: вы не будете пытаться с ним заговорить. Он здесь поблизости. Если сеньор согласится пойти со мной...

Почему я сделал это? Да разве мы знаем, почему поступаем так, а не иначе! Возможно, потому, что итальянец, не переставая улыбаться, начал мягко тянуть меня за собой. Или потому, что его любезная улыбка выражала мольбу. Или мне стало любопытно. Или от скуки.

Он привел меня в ближайшее кафе. Но, прежде чем мы вошли, предупредил:

— Следуйте за мной и не смотрите по сторонам, пока мы не сядем. Мой хозяин с дамой и...

Извинившись, он вошел первым. Я — за ним. Это было самое обычное парижское кафе, маленькое и уютное. Может, я и сам когда-нибудь сюда забредал. Мы направились к столику, стоящему в самом углу, он сел спиной к залу, а мне указал на стул у стены:

— Отсюда вы можете его увидеть. Справа, стол у окна. Вон тот господин — мой хозяин.

Нельзя сказать, чтобы его хозяин показался мне человеком особенно примечательным или, наоборот, совсем заурядным. Я увидел подтянутого мужчину лет сорока, молодежавого, в сером костюме, у него были седые усы и седина на висках. При слабом освещении мои бедные близорукие глаза больше ничего разглядеть не сумели. Еще я заметил, что он носит темные очки, впрочем, как и я.

— А девушка? Вам хорошо ее видно?

— Она сидит ко мне спиной.

— Она красивая, но сказать так о женщине в Париже все равно что не сказать ничего. Мне почему-то кажется, что вы с удовольствием взглянули бы на нее поближе.

Он изобразил руками в воздухе некие прелести, к коим я всегда был равнодушен, и подмигнул мне:

— Моему хозяину тоже нравятся такие женщины. Только подумайте! Сколько совпадений! Вы отлично поймете друг друга.

В этот миг девушка начала подниматься, и я сумел разглядеть ее получше: высокого роста, стройная, в черных брюках и черном свитере. Она накинута на плечи серое пальто, надела перчатки. Господин тоже встал. Его движения, да и весь облик показались мне знакомыми, хотя утверждать, что жизнь когда-то близко сводила нас, я бы не рискнул. Он выглядел очень элегантно, ему была свойственна та редко кому доступная элегантность, когда костюм не столько одевает человека, сколько помогает выразить себя.

Девушка пошла к выходу — высоко подняв голову, глядя куда-то в пространство. Господин вежливо следовал за ней, но пылкой влюбленности в этой вежливости не замечалось.

— А теперь? Вы узнали его? — спросил итальянец.

— Нет.

— Жаль. Поверьте, мне и впрямь жаль. Я привел вас сюда, чтобы вы с первого же взгляда вспомнили его имя. Если бы вы сразу воскликнули: «Ах, да это же такой-то!», я бы ответил: «Да, разумеется!», а потом дал бы все необходимые объяснения. Но вы не узнали его, и тут я ничего не могу поделать. Клянусь, мне очень жаль. Ведь назови я теперь имя моего хозяина, вы расхохотаетесь мне в лицо, примете за сумасшедшего или, что еще хуже, посчитаете, что над вами издеваются. Да, я весьма огорчен нашей неудачей, но придется подо-

ждать до следующего раза. Ах, знали бы вы, как мне неприятны такие ситуации! И конечно, я вечно в них попадаю. Но все логично, логично...

Он встал, взял трость и шляпу.

— Теперь или позже, но вы непременно все узнаете, и каким-нибудь более естественным способом, я хочу сказать — мягко, без шока, без ощущения абсурда, которое непременно возникает у всякого, кто находит загадку самостоятельно. И это должно случиться очень скоро, ведь вы собираетесь покинуть Париж в ближайшие дни... Когда вы уезжаете?

— Не знаю.

— Задержитесь. Вы уже видели декорации, а всего через несколько дней состоится премьера замечательной пьесы, каких в вашей стране ставить не умеют. Подождите. Я пришлю вам билеты.

Больше он ничего не сказал, кивнул на прощание и выбежал на улицу. Я подошел к окну и увидел, как он удаляется той же прыгающей походкой, в ритме шутовского танца, только теперь трость и цветок поменялись местами.

Я почувствовал за спиной чье-то дыхание, услышал громкий стук сердца, хотя последнее, наверно, мне только показалось. Женщина, по виду официантка, тоже приблизилась к окну и смотрела поверх моего плеча, но вовсе не на итальянца, который уже успел исчезнуть за углом, она смотрела туда, где остановились девушка в черных брюках и ее спутник.

Ей, этой официантке, было лет тридцать, и она мне сразу понравилась. Она смотрела на девушку с отчаянием, с бешенством и даже что-то пробормотала, но я не разобрал, что именно, ведь я хорошо понимаю французский, только когда общаюсь с иностранцами, которые владеют им так же дурно, как и я.

Но тон реплики и выразительный взгляд официантки привлекли мое внимание. Я вернулся за свой столик